К 100-летию со дня рождения Анны Ахматовой

МУЖЕСТВО

Мы знаем, что ныне лежит
на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил
на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями
мертвыми лечь,
Не горько остаться
без крова, —
И мы сохраним тебя,
русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым
тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена
спасем
Навеки!

Февраль 1942

***

Нет, и не под чуждым
небосводом,
И не под защитой чуждых
крыл —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ,
к несчастью, был.

***

Мне голос был. Он звал
утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой
и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

ЭПИГРАММА

Могла ли Биче словно Дант
творить,
Или Лаура жар любви
восславить?
Я научила женщин говорить...
Но, боже, как их замолчать
заставить!

Поэль КАРП

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Впервые я увидал Анну Андреевну на литературном вечере в Колонном зале Дома союзов сразу после войны. Она была худа, казалась очень высокой и имела ошеломляющий успех, хотя на вечере выступали виднейшие поэты Москвы и Ленинграда. Только Пастернак вызвал овации еще более шумные и более долгие. Но Пастернак был «свой», москвич, он не раз уже к тому времени выступал публично — в Политехническом музее и других местах. Ахматову же мы, молодые москвичи, по преимуществу заполнявшие зал, видели впервые — она была гостьей, и не только из многострадального Ленинграда, но из минувшей эпохи.

Счастливый обладатель не только давних изданий, но и сборника «Из шести книг», вдруг вышедшего перед войной, я принимал за чистую монету, что за предшествовавшие ему двадцать лет Ахматова написала меньше тридцати стихотворений. Видеть ее было так же странно, как если бы вдруг на сцену вышел Блок, предвидевший, что «терпеть недолго».

Ахматовой выпало терпеть долго, и вечер в Колонном зале не был концом. Последовавшее вскоре постановление продлило необходимость терпения на неопределенный срок. Лишь в 1960 году сборник в «Библиотеке советской поэзии», где автору положено предварить стихи автобиографией, позволил Анне Андреевне написать: «Читатель этой книги увидит, что я не переставала писать стихи». К тому времени я был уже с ней знаком, и сам эти еще не напечатанные слова слышал не раз повторенными. Для нее это было важно. Помню свое крайнее удивление, когда М. С. Петровых сказала: «Для меня Ахматова как большой поэт начинается в тридцатые годы». А я, хоть и часто твердил наизусть пронзительное восьмистишье «Не дышали мы сонными маками...», шел на улицу Красной конницы к автору «Белой стаи» и «Anno Domini».

Год был, кажется, пятьдесят восьмой. В узкой комнате, куда проходили через большую, дверь была посреди длинной стороны, и, входя, вы сразу оказывались посреди комнаты, почти у противоположной стенки, и тут же оставались сидеть. Т. И. Сильман назвала мое имя, Анна Андреевна меня скептически оглядела, все присели, они поговорили о чем-то очень светском, как говорят меж собой две красивые женщины, я не знал, какое слово вставить, и схватился за лежащее на поверхности — попросил что-нибудь прочесть. Анна Андреевна тотчас согласилась, лишь насмешливо бросив: «Я-то думала, что это вы захотите мне прочесть», и прочла несколько стихотворений, которых я не знал, и среди них, хоть, как потом выяснилось, и опубликованное во время войны, но мне не известное. «Один идет прямым путем», всюду теперь печатаемое, — только третья и четвертая строка прозвучали, по-моему, несколько иначе, чем печатают.

Прочитанное вторым или третьим, оно поразило меня и текстом, и неожиданно почти бытовой интонацией, и, когда она остановилась, прочитав шесть или семь стихотворений, я попросил: «Анна Андреевна, прочтите еще раз «Один идет прямым путем...» и сам произнес все восемь строк. Она взглянула на меня совсем иначе, как бы впервые: «Вы все так запоминаете?». И хоть я ответил вполне светски: «Нет, только то, что нравится», к стихам возврата не было.

Читать она отказалась наотрез, и хоть вскоре подъехал В. Г. Адмони и мы просидели еще часа полтора, если не больше, говоря на разные темы, и мой скепсис по поводу то и дело сулимого и кругом ожидаемого либерализма был вроде ей по душе, и она простилась со мной очень любезно, пригласив звонить и заходить, чрезмерность моей тогдашней памяти толкала ее к защитному отчуждению, и я ощущал это.

При следующей нескорой встрече этого отчуждения, правда, уже не было. Тамара Исааковна или Владимир Григорьевич, давно с ней дружившие, видимо, объяснили, что опасаться меня нечего. Но я-то запомнил ее испуг и понимал, что не вправе говорить ничего, что возвращало бы ее к былому душевному опыту. Видимо, это и лишило меня права сегодня сказать, что я действительно был с ней хорошо знаком, хотя не раз еще виделся, заходил к ней на дачу в Комарове, чаще, впрочем, не один, но раза два или три все-таки один.

Однажды повод зайти был тот, что неподалеку от ее дома валялось ничейное бревно. А тахта у нее в «будке» опиралась одним углом на положенные крест - накрест друг на друга кирпичи. И вот я пришел с примитивной идеей: замерить высоту, достать пилу и отпилить нужный кусок дерева, а кирпичи потом выбросить. Я изложил все это как необходимую формальность вежливости, уже обдумывая, у кого лучше пилу взять. Анна Андреевна выслушала без воодушевления, пожала плечами и удивленно вымолвила: «Зачем? Пусть видят, как я живу». Я не раз потом слушал эти слова, но тогда не сразу их освоил и пытался даже объяснить, что это очень просто, что ей не придется ни о чем думать, да и мне это не составит труда и даже приятно будет попилить. Боже мой, наверное, никогда в жизни я не ощущал на себе столь презрительного взгляда.

И вовсе не в том дело, что она хотела выглядеть бедной и несчастной, выставить напоказ ужас своей жизни. Когда на бурном собрании, опрокинувшем прежнее руководство, ее избрали в правление Ленинградской писательской организации, она, не показывавшаяся до того в Союзе и на самом собрании тоже не присутствовавшая, на первое заседание правления приехала, чуть опоздав. В довольно полной Красной гостиной, еще никем не замеченная, она села на свободный стул в последнем ряду, рядом со мной — видимо, ориентируясь по знакомому лицу, — прямо у стенки, выходящей на Неву. Но М. Дудин, только что избранный первым секретарем и стоявший лицом к залу, не дал ей остаться незамеченной и торжественно приветствовал ее появление. Что тут началось! Все сидевшие к нам спинами обернулись и встали, и, будучи рядом с ней, я мог видеть, как ответственные лица, естественно, из первых прежде рядов, теперь тянули шеи, чтобы разглядеть ту самую Ахматову, которую по долгу службы много лет обличали.

Она не шелохнулась и приняла возникшую суматоху с немыслимым для нашего времени достоинством. И я вспомнил старые ее стихи про то, что в мире нет людей «надменнее и проще нас». Это странное сочетание «надменнее» и «проще», обретенное еще в двадцать втором году, так и осталось самой точной автохарактеристикой. Написав однажды «мы ни единого удара не отклонили от себя», было бы нелепо совершенствовать стойку под тахтой. Ахматова прожила долгую жизнь и удары принимала не то чтобы как должное, но как предназначенное, она ждала их и, когда ожидание кончалось, испытывала не только боль, но как бы даже и облегчение — свершилось («У меня всегда так!»). Окружающие не всегда сознавали, что боль от этого меньше не становилась.

При свойственной ей полноте ощущения текущей минуты ее не покидали устойчивые, давно обретенные понятия и сложившиеся отношения. Когда в «Литгазете» опубликовали ее стихи со строками «Тебе улыбнется презрительно Блок — Трагический тенор эпохи», многие возмущались, — как можно назвать Блока тенором! Она оправдывалась: «Но ведь я же сказала **трагический** тенор, а не какой-то другой. Трагический!». Она стояла на своем насмерть. И черт опять дернул меня за язык: «Анна Андреевна, вы же сами говорили, что, когда выступали с ним вместе, он сказал: «Анна Андреевна, мы не тенора!» (Она рассказала об этом и в воспоминаниях о Блоке, посмертно опубликованных.) Наступила страшная пауза. И вдруг она произнесла: «Только по стихам сама понимаешь, что думаешь», и разговор был исчерпан.

Наверное, воспоминание о тех его словах давно вызывало в ней несогласие, и она не могла не изъяснить его, пусть даже с шокирующей резкостью. Слово «тенор» означало, должно быть, для нее поэта, в котором нутро хотя бы отчасти проникало в облик, даже преображалось в позу. Блок-то сам это понимал и преодолевал, да и она про себя понимала и тоже в себе преодолевала, и, может быть, сказала это о нем, думая и о себе. Она ведь и о Пастернаке говорила, хоть и с явным расположением, но тоже порой иронически. Кажется, только в Мандельштаме она ощущала поэзию как само естество, как голос природы, своей власти над которым человек, им владевший, не преувеличивал, вернее, не искал производных от этого голоса в обыденной жизни, а ждал, как и она, лишь ударов, которые было не отвести, которым можно было лишь быстрей идти навстречу.

Не стану уверять, что сказанное о Блоке было исчерпывающе точным, но ведь и она сама все еще не вполне понята нами. В посвященных ей в двадцать восьмом году стихах о ее взгляде, острота которого им отождествлялась с остротой очертаний в белую ночь, Пастернак сказал:

Он мне внушен не тем
столбом из соли,
Которым Вы пять лет
тому назад
Испуг оглядки к рифме
прикололи.

Далее воспеваются «прозы пристальной крупицы», шедшие от первых книг. Этот «испуг оглядки» был обнаружен в стихах двадцать четвертого года о Лотовой жене, в стихах о том, что не то что за участие в жизни, но и за самый взгляд на нее приходится платить обращением в соляной столп. Ахматова там пишет: «Но сердце мое никогда не забудет Отдавшую жизнь за единственный взгляд».

Оглянуться, по слову Блока, «на непроглядный ужас жизни» и впрямь бывало страшно, но Ахматова переступала сопровождавший ее страх и дорого потом платила за единственный взгляд. Помоему, благодаря этой оглядке, этой нараставшей единственности взгляда, с той же конкретностью, с какой она прежде замечала, как «свежо и остро пахли морем На блюде устрицы во льду», замечавшего массовые преображения человеческих душ и духа, Ахматова и стала большим поэтом. «Испуг оглядки» послужил этому не менее, чем «прозы пристальной крупицы». Это, однако, уже ахматоведение.

Анна Андреевна дожила до того, что оказалась крупнейшим среди живущих русским поэтом. Сопоставимые умерли или еще не объявились во весь рост. Когда ее хоронили, стоял страшный мороз, никому не позволявший забыть о себе, и все же было очевидно, что «погребают эпоху». Она и сама сознавала, до чего дожила, и от того, чтобы не затвердеть на пьедестале, ее спасало, пожалуй, лишь незаурядное чувство юмора, несколько даже неожиданное. Ощущение причастности к могучему пласту жизни было в ней все же сильней, чем несомненное ощущение собственной поэтической значимости.

Когда ее пригласили засвидетельствовать доброе имя людей, некогда погубленных, а после XXII съезда посмертно реабилитируемых, она рассказывала, как с ней были любезны, как молодой сотрудник добросовестно записал все хорошее, что она о вычеркнутых из жизни сказала, и предложил подписать. И тут она горько усмехнулась и выдохнула: «Я их всех подписывала». То был, пожалуй, единственный случай, когда и в голосе, и в самой ее кривой усмешке я различил чувство удовлетворения. Впрочем, я, к сожалению, мало ее знал.